



УИЛЬЯМ
ФОЛКНЕР



УИЛЬЯМ
ФОЛКНЕР



Дикие пальмы



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44
Ф75

Серия «Зарубежная классика»

William Faulkner

THE WILD PALMS

Перевод с английского *Г. Крылова*

Компьютерный дизайн *А. Смирнова*

Печатается с разрешения издательства Random House, a division
of Penguin Random House LLC
и литературного агентства Nova Littera SIA.

Фолкнер, Уильям.

Ф75 Дикие пальмы : [роман] / Уильям Фолкнер ; [пер.
с англ. Г. Крылова]. — Москва : Издательство АСТ,
2016. — 320 с. — (Зарубежная классика).

ISBN 978-5-17-099171-6

Что такое судьба для мужчины и женщины, которые ради любви сожгли за собой все мосты и, увы, начали понимать, что каждый день совместной жизни неуклонно приближает их к трагической развязке?

Что такое судьба для каторжника, которого освободило из оков разрушительное наводнение и который с упорством безумца преодолевает преграду за преградой, чтобы вернуться в цепи?

Что такое судьба? Судьба в неотвратимом значении Рока, определяющего события человеческой жизни с необратимостью библейских слов «мене, текед, фарис»?

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Coe)-44

© William Faulkner, 1939
© Перевод. Г. Крылов, 2016
© Издание на русском языке
AST Publishers, 2016

ISBN 978-5-17-099171-6

ДИКИЕ ПАЛЬМЫ

Стук в дверь, робкий и в то же время настойчивый, повторился, и, пока доктор спускался по лестнице, луч фонарика пронизывал перед ним погруженный в темноту колодец лестницы и уходил дальше — в погруженный в темноту короб гостиной, куда вела лестница. Дом, хотя и двухэтажный, был прибрежным коттеджем и освещался керосиновыми лампами или одной лампой, которую его жена после ужина брала наверх. И доктор носил не пижаму, а ночную рубашку, что делал по той же причине, по которой курил трубку, к которой он так и не смог привыкнуть, и знал, что никогда не сможет привыкнуть, перемежая ее с редкими сигарами, которые его пациенты дарили ему между воскресеньями, по которым он выкуривал три сигары, которые, считал, может позволить себе, хотя при этом владел и этим, и соседним коттеджем, и еще одним — с электричеством и оштукатуренными стенами — в поселке в четырех милях отсюда. Потому что сейчас ему было сорок восемь, а когда его отец говорил ему (а он — верил этому), что сигареты и пижамы — для женщин и пижонов, ему было шестнадцать, и восемнадцать, и двадцать.

Время перевалило за полночь, хотя и не очень давно. Он чувствовал это не по ветру, не по вкусу, запаху и осязанию ветра даже здесь за закрытыми и замкнутыми дверями и ставнями. Потому что он родился на этом побережье, хотя и не в этом, а в другом доме, расположенном

в городе, и прожил тут всю жизнь, включая четыре года в медицинском колледже университета штата и два года, которые он проработал врачом-практикантом в Новом Орлеане, где отчаянно тосковал по дому (он и в молодости был толст, и руки у него были толстые, мягкие, женственные; ему вообще не следовало становиться врачом, даже после шести лет более или менее столичной жизни он с провинциальным и замкнутым изумлением поглядывал на своих сокурсников и товарищей: эти поджарые молодые люди щеголяли в своих университетских пиджаках, на которых с жестоким и самоуверенным — для него — бахвальством, словно украшение или цветочек в петлице, носили бесчисленные и безликие фотографии молоденьких сиделок). Он окончил университет с отметками ближе к последним выпускникам, чем к первым, хотя и не среди последних, и не среди первых, и вернулся домой, и не прошло и года, как он женился на девушке, которую выбрал для него отец, и не прошло и четырех лет, как стал владельцем дома, который построил его отец, и унаследовал врачебную практику, которую создал его отец, ничего не потеряв от нее и ничего к ней не прибавив, и не прошло и десяти лет, как он стал владельцем не только дома на берегу, где в бездетной тишине проводили они с женой летнее время, но еще и соседнего, который он сдавал на лето семьям или компаниям, приезжавшим на уик-энд, или рыболовам. В день свадьбы они с женой уехали в Новый Орлеан и провели два дня в номере отеля, но медового месяца у них так и не было. И хотя вот уже двадцать три года они спали в одной постели, детей у них так и не было.

Даже и без ветра он мог бы приблизительно определить время — по застоявшемуся запаху супа, давно уже остывшего в глиняном горшке на холодной плите за тонкой перегородкой кухни, — его жена сегодня утром наварила полный горшок супа, чтобы дать соседям и постояльцам в доме напротив: мужчине и женщине, которые

четыре дня назад сняли коттедж и которые, вероятно, даже не знали, что угощавшие их супом были не только их соседями, но еще и домовладельцами; темноволосая женщина с необычными жесткими желтыми глазами на лице, кожа которого была туго натянута на выступающих скулах и тяжелой челюсти (сначала доктор назвал это лицо угрюмым, а потом — испуганным), молодая, она все дни просиживала в новом дешевом шезлонге лицом к воде, в поношенном свитере, выцветших джинсах и матерчатых туфлях, она не читала и вообще ничего не делала, просто сидела там, погруженная в полную неподвижность, но и без этой неподвижности доктор (или Доктор в докторе) по одной только натянутой коже и застывшему, пустому, направленному в себя взору явно ничего не видящих глаз мог поставить диагноз — полное оцепенение, нечувствительность даже к боли и страху, когда живое существо словно прислушивается к себе и даже наблюдает свои собственные пульсирующие органы, например, сердце, тайное неудержимое течение крови; мужчина тоже был молод, одет в выдавшие виды брюки цвета хаки и вязаную нижнюю рубашку без рукавов, с непокрытой головой, — и это в краях, где даже молодые люди считали, что летнее солнце убийственно, — его обычно можно было увидеть на берегу бредущим босиком у самой кромки прилива с охапкой прибитых к берегу сучьев, обвязанных поясным ремнем, он проходил мимо неподвижно сидящей в шезлонге женщины, которая никак не реагировала на его приближение — ни кивком головы, ни движением глаз.

Но она наблюдала не за сердцем, сказал себе доктор. Он понял это в первый день, когда, совсем не собираясь подслушивать, смотрел на женщину, скрытый олеандровыми кустами, которые разделяли два участка. И само открытие того, *что* не является объектом ее наблюдений, казалось ему, содержит разгадку, ответ. Ему казалось, будто он уже увидел истину, неясные, неопре-

деленные очертания истины, словно он был отделен от истины лишь полупрозрачным занавесом, точно так же, как он был отделен от живой женщины занавесом олеандровых листьев. Он не подслушивал, не следил, вероятно, он думал: *у меня будет достаточно времени, чтобы узнать, к какому органу она прислушивается; они заплатили деньги за две недели* (вероятно, в это же время Доктор в докторе знал, что на это потребуются не недели, а всего лишь дни), и еще он думал, если ей понадобится помощь, хорошо, что он, домовладелец, в то же время и доктор, но тут ему пришло в голову, что поскольку они не знают о том, что он домовладелец, то, вероятно, не знают и о том, что он доктор.

Агент по недвижимости сообщил ему по телефону, что нашел для него постояльцев.

— Она носит брюки, — сказал он. — То есть не обычные женские свободные брюки, а мужские. Они ей узковаты как раз в тех самых местах, в которых мужчины и любят, чтобы они были узковаты, но ни одной женщине это не нравится, если только эти брюки не на ней. Я думаю, миссис Марте это не очень понравится.

— Она не будет возражать, если они заплатят вовремя, — сказал доктор.

— Ну, с этим-то все в порядке, — сказал агент. — Об этом я уже позаботился. Не первый год замужем. Я ему говорю: «Только деньги впереди, — а он мне: «Хорошо. Хорошо. Сколько?» — так, словно он Вандербильт какой, а на самом грязные рыбацкие штаны, а под курткой — нижняя рубашка, вытащил он из кармана пачку денег, а там крупнее десятки и нет ничего, да и десяток-то всего — раз-два и обчелся, одна у него осталась, а с другой я ему сдачу дал, так что там всего две и было, и я ему говорю: «Конечно, если вас устроит дом, как он есть, только с той мебелью, что там есть, то это будет совсем недорогой, — а он говорит: «Хорошо. Хорошо. Сколько? и наверное, я мог бы получить с него

и больше, потому как он сам сказал, никакой мебели ему не надо, четыре стены и дверь, чтобы закрыть за собой. А она так из такси и не вылезла. Сидела себе там, ждала в своих брючках, что ей узковаты как раз в тех самых местах. — Голос смолк; в ухо доктора понеслось теперь выжидательное жужжание на телефонной линии — сменившийся тон смешливой тишины, и потому он сказал почти резко:

— Так им нужна мебель или нет? В доме нет ничего, кроме кровати, и матрац на ней...

— Нет-нет, больше им ничего не нужно. Я сказал ему, что в доме есть кровать и плита, а среди их вещей в такси был стул, знаете, такой складной с парусиной, и еще саквояж. Так что все в порядке. — И снова в ухо доктору понеслось выжидательное молчание смеющейся тишины.

— Ну? — сказал доктор. — Так что же? Что с вами такое? — хотя он, казалось, прежде чем заговорил другой, уже знал, что скажет голос:

— Боюсь, но миссис Марте придется переварить кое-что еще похуже, чем эти брючки. Я думаю, они не женаты. Он-то говорит, что они женаты, и я не думаю, что он врет про нее, и даже, наверно, он и про себя не врет. Но дело в том, что он не ее муж, а она не его жена. Потому что я мужей и жен за милю чую. Покажите мне какую-нибудь женщину, которую я раньше и в глаза не видел, на улицах Мобайла или Нового Орлеана, и я вам точно скажу...

В тот же день они въехали в коттедж, в сарай с одной кроватью, пружины и матрац которой были далеко не в лучшем состоянии, с плитой, со сковородкой, впитавшей в себя не одно поколение жареной рыбы, с кофеваркой и жалким набором разных железных ложек и ножей и треснутых чашек, и блюдец, и прочих сосудов для питья, в которых продаются варенья и джемы, и с новым шезлонгом, в котором женщина просиживала

целые дни, наблюдая, казалось, как пальмовые ветви с неистовым сухим горьким звуком стучатся в сверкающую гладь воды, пока мужчина носил на кухню прибитую к берегу древесину. За два дня до того повозка молочника, объезжавшая жителей берега, остановилась у коттеджа, а один раз жена доктора видела, как мужчина с буханкой хлеба и объемистой бумажной сумкой возвращался из бакалейной лавчонки, принадлежащей португальцу, промышлявшему раньше рыболовством. И еще она сказала доктору, что видела, как он чистил (или пытался чистить) груды рыбы на ступеньках кухни, она сообщила ему об этом с разгневанным и ожесточенным осуждением — бесформенная женщина, но еще не толстая, по своей полноте даже не приближавшаяся к доктору, она начала сидеть лет десять назад, словно цвет ее кожи и волос стал слегка изменяться вместе с цветом глаз под воздействием цвета халатов, которые она явно выбирала в соответствии с ними.

— Ну и грязизищу он там развел с этой рыбой! — вопила она. — Грязизищу за дверями кухни, да и на плите, наверно, тоже!

— Может быть, она сама умеет готовить, — примирительно отвечал доктор.

— Где, как? Уж не сидя ли во дворе? Если он ей даже еду приносит? — Но даже это не было еще настоящим гневом, хотя она и не сказала этого. Она не сказала: «Они не женаты», хотя они оба и думали об этом. Они оба знали, как только эти слова будут произнесены, он откажет постояльцам от дома. И все же они оба не хотели произносить эти слова, и не только потому, что, отказав им, он будет чувствовать себя морально обязанным вернуть им деньги; были и другие причины, по крайней мере, у него, кому не давала покоя мысль: *У них было только двадцать долларов. И это было три дня назад. И с ней что-то не так*, доктор теперь говорил в нем громче, чем провинциальный протестант, баптист от

рождения. И в ней тоже что-то (может быть, тоже доктор) говорило громче, чем провинциальная баптистка, потому что в то утро она разбудила доктора, позвала его, стоя у окна, бесформенная в хлопчатобумажной ночной рубашке, похожей на саван, в папильотках, на которые были накручены седые волосы, чтобы показать ему, как мужчина идет вдоль берега, над которым встает солнце, с охапкой прибитой к берегу древесины, связанной ремнем. И когда он (доктор) вернулся в полдень домой, она уже наварила суп, огромный горшок овощного супа, которого хватило бы на десятерых, она приготовила его с мрачной самаритянской бережливостью добропорядочной женщины, словно испытывала мрачное, и мстительное, и мазохистское удовольствие от того, что самаритянское деяние будет осуществлено ценой остатков супа, который будет стоять непобедимо и неистребимо на плите день за днем, чтобы его грели, и разогревали, и еще раз разогревали, пока его не съедят два человека, которым такие супы совсем не по вкусу, потому что они родились и выросли у моря и из всех рыб предпочитали консервированных тунца, семгу и сардины, убиенных и защищенных от тления за три тысячи миль отсюда в маслах промышленности и коммерции.

Он сам отнес им супницу — низкорослый, жирный, неопрятный человек в не очень свежем белье, он боком, неловко пробирался сквозь олеандровый кустарник, неся супницу, укрытую все еще хранившей следы складок (даже еще не стиранной, настолько она была новой) льняной салфеткой, всем своим видом создавая атмосферу неуклюжего добросердия вокруг символа, который он нес: бескомпромиссное христианское деяние, осуществленное не с искренностью или из жалости, но из чувства долга, он поставил ее так (она не встала с шезлонга, не шелохнулась, только бросила взгляд своих жестких кошачьих глаз), словно в супнице был нитроглицерин, его жирная небритая маска лица светилась

глуповатой улыбкой, но из-под этой маски смотрели глаза Доктора в докторе — пронизательные, ничего не упускающие, изучающие без улыбки и без робости лицо женщины, которое было не просто худым, а изможденным, он думал: *Да. Степень или две. Может быть, три. Но только не сердце*, затем, встряхнувшись, пробудившись, он встретил взгляд пустых диких глаз, уставившихся на него, кого, в чем он не сомневался, они видели впервые, с глубочайшей и безграничной ненавистью. Эта ненависть была абсолютно безличной, так человек, переполненный счастьем, с радостью и удовольствием смотрит на какой-нибудь столб или дерево. Он (доктор) был лишен тщеславия, нет, не на него была направлена эта ненависть. *Она ненавидит весь род человеческий*, подумал он. *Или нет, нет. Постой. Постой* — вот сейчас упадет занавес, начнут вращаться приводные колеса дедукции — *не род человеческий, а только мужской род, мужчин. Но почему? Почему?* Его жена обратила бы внимание на метку, оставшуюся от отсутствующего обручального кольца, но он, доктор, увидел больше: *У нее были дети*, подумал он. *По крайней мере, один ребенок, готов поставить на это свою докторскую степень. И если Кофер* (тот самый агент) *прав, говоря, что это не ее муж, а он наверняка прав, уж он-то знает, за милую душу, как он сам говорит, потому что он и бизнесом этим — сдачей в аренду коттеджей на берегу — занимается по той же причине или по тому же побуждению, той же искупительной надобности, которая заставляет определенных людей в городах обставлять и сдавать комнаты парам под ненастоящими, вымышленными именами... Скажем, она возненавидела род мужской столь сильно, что бросила мужа и детей; хорошо. Но ведь она ушла от них не для того, чтобы жить с другим мужчиной, да еще и в явной нищете, к тому же она больна, серьезно больна. Или бросила мужа и детей ради другого мужчины и бедности, а потом, потом...* Он чувствовал, слышал их: приводные колеса пощелкивали,

раскручивались; он чувствовал, что ему нужно поторпливаться, чтобы успеть, предчувствовал, как шелкнут, выходя из зацепления, последние зубцы колес, прозвонит колокольчик знания, а он все еще будет слишком далеко, чтобы увидеть и услышать: *Да. Да. Что же могли мужчины как род сделать с ней, что она смотрит на такого представителя этого рода, как я, кого она и видит-то впервые, — а если бы и видела прежде, то второй раз уже и не взглянула бы, — с ненавистью, сквозь которую тому приходится проходить каждый раз, когда он возвращается с берега, неся связку дров, чтобы для нее же приготовить еду?*

Она даже не шевельнулась, чтобы взять у него супницу.

— Это овощной суп, — сказал он. — Моя жена приготовила. Она... мы... — Она не шелохнулась, взглянув на него — сутулого, толстого, в помятой пижаме, с нещедрым даром в руках; он даже не слышал, как подошел мужчина, пока она не обратилась к нему. — Спасибо, — сказала она. — Отнеси это в дом, Гарри. — Она больше не смотрела на доктора. — Поблагодарите вашу жену.

Он думал о двух своих постояльцах, спускаясь по лестнице вслед за прыгающим лучиком света в застоявшийся запах супа внизу, к двери, к стуку. Не предчувствие, не предвидение говорило ему, что имя стучавшего — Гарри. Просто он четыре дня ни о чем другом не думал — этот неопрятный средних лет человек в архаичной ночной рубашке, ставшей теперь неизменным реквизитом национальной комедии, он только что пробудился от сна в несвежей постели своей бездетной жены и уже думал о (может быть, даже видел это во сне) всеобъемлющем и безумном огне беспредметной ненависти в глазах странной женщины; и с чувством неизбежности, чувством человека, отделенного от тайны всего лишь занавесом, уже протягивающего к тайне руку и даже касающегося ее, но не совсем, уже видящего, но

не полностью, только очертания истины, он, даже не отдавая себе в этом отчета, внезапно остановился на лестнице в своих старомодных тапочках без задника, лихо-радочно думая: *Да. Да. Нечто, что весь род мужской, все мужчины сделали с ней, или она считает, что сделали.*

Стук повторился, словно стучавший по какому-то изменению луча фонарика, видимого сквозь щель под дверью, догадался, что он остановился, и теперь начал стучать опять с робкой настойчивостью прохожего, ищущего помощь поздней ночью, и доктор пошел дальше, но не потому, что возобновился стук, — ведь доктор ничего такого не предчувствовал, — но словно возобновившийся стук совпал с возвратом в тот самый измучивший его тупик четырехдневных поисков и догадок, где он снова и снова вынужден был признавать свое поражение; словно его тело, способное к движению, снова вел какой-то инстинкт, а не интеллект, считающий, что физическое продвижение может подвести его ближе к занавесу в тот момент, когда он упадет и откроет в неприкрытой наготе истину, к которой он почти прикоснулся. И потому он без всякого предчувствия открыл дверь и выглянул наружу, наставив луч фонарика на стучавшего. Это был мужчина по имени Гарри. Он стоял в темноте, где дул сильный устойчивый морской ветер, наполненный сухими ударами пальмовых ветвей, в том самом виде, в каком привык видеть его доктор, — в грязных парусиновых брюках и нижней рубашке без рукавов, он скороговоркой произнес полагающиеся в таких случаях слова о позднем часе и необходимости и попросил разрешения воспользоваться телефоном, а доктор тем временем, стоя в ночной рубашке, обтекавшей его дряблые икры, разглядывал прищельца и в безудержном приступе радости думал: *Ну вот, теперь-то я узнаю, в чем дело.*

— Нет, — сказал он, — вам не нужен телефон. Я сам врач.

— Ах так, — сказал другой. — Вы сможете прийти сейчас же?

— Да. Только надену брюки. А что с ней? Мне нужно знать, что взять с собой.

Какое-то мгновение другой колебался; и это тоже было знакомо доктору, он уже встречался с этим и считал, что знает его источник: врожденный и неискоренимый инстинкт человека попытаться утаить часть правды даже от врача или адвоката, за чьи знания и опыт он платит. — У нее кровотечение, — сказал он. — Сколько это будет...

Но доктор не услышал этих слов. Он разговаривал сам с собой: *Ну конечно же. Да. Как же я не... Конечно же, легкие. Как же я не подумал об этом?* — Да, — сказал он. — Подождите меня здесь. Или, может быть, вы войдете? Через минуту я буду готов.

— Я подожду здесь, — сказал другой. Но доктор не слышал этих слов. Он уже взбежал вверх по лестнице, рысью вбежал в спальню, где его жена, приподнявшись в постели и опершись на локоть, смотрела, как он залезает в брюки, его тень, образуемая стоящей на низеньком столике у постели лампой, выделявала невообразимые движения на стене, и ее тень, тоже безобразная, похожая на какое-то чудовище из-за торчащих во все стороны накрученных на бумажки серых от седины волос над серым лицом над ночной рубашкой с высоким воротником, тоже казавшейся серой, как и все ее вещи, которые окрашивались мрачным сероватым цветом ее суровой и непримиримой морали, которая, как еще предстояло узнать доктору, была почти всеведущей. — Да, — сказал он, — кровотечение. Вероятно, кровохарканье. Легкие. И как же это я не...

— Уж скорее он прирезал или пристрелил ее, — заметила она холодным, спокойным, укоризненным голосом. — Впрочем, судя по выражению ее глаз, хоть я и ви-